



ЕКАТЕРИНА
МОРДВИНЦЕВА

УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ
& СБОР
АМЬ ДЛЯ ЛЮТОГО

Екатерина Мордвинцева

Успокоительный сбор.

Хмель для лютого

<https://litres.ru/74211514>

Аннотация

Я приехала к отцу на три дня. Через неделю меня выдали замуж за его убийцу-партнера. Он говорит, что я — его хмель. Горький, колючий, пьянящий. Я говорю, что он — мой кошмар. Но когда я пытаюсь сбежать, он ловит меня и шепчет: «Беги еще. Мне нравится, как ты оставляешь себя на моей территории».

Содержание

Пролог	4
Глава 1	32
Глава 2	62
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Пролог

Я пахну смертью. И хмелем. И сейчас эти два запаха для меня одно и то же...

Ночь не хотела быть черной.

Она выгорела до пепельного, до мертвенно-белесого оттенка, потому что склад полыхал так, будто сам ад решил открыть здесь свое представительство с кадровыми скидками для особо доверенных грешников. Я стоял в двадцати семи метрах от того места, где еще три часа назад покоились полторы тонны хмелевых шишек — особый сорт, горький до спазма в челюсти, дикий, выведенный на стыке генной инженерии и старых монастырских рецептов. Каждая шишка пахла мускатом, апельсиновой цедрой и тем самым грехом, который нельзя купить за деньги — только украсть у природы.

Мы везли их под видом декоративных растений для ландшафтного дизайна элитных коттеджей. Три контейнера, маркировка «Хмель декоративный, неприщевой». На деле — прикрытия для кокаина из Перу, чистейшего, как слеза девственницы, если бы девственницы вообще плакали чем-то кроме розовой воды из романов восемнадцатого века. Красиво, правда? Наркота под видом хмеля. Поэзия для ментов в отставке, которым уже все равно, что нюхать — кокаин или нафталин.

Теперь эта поэзия превратилась в угли размером с мою голову и черные хлопья, которые кружились в воздухе, как снег, который забыл, что он белый. Как я забыл, что такое страх.

Я медленно, очень медленно повернул голову. Шея хрустнула тремя позвонками подряд — мышцы затекли от трехчасового стояния на одном месте, от наблюдения за тем, как горит твоё будущее. Два моих человека стояли справа, ещё трое слева. Молчали. Мертвая тишина, которую нарушал только треск горящих досок и далекий вой полицейской сирены — там, в городе, у них своя жизнь, свои трупы, свои пожары. Сюда они не сунутся. У них есть приказ: территория Ильи Архипова — заповедник, в который лучше не соваться без бронепоезда и благословения папы римского.

Мои люди знали: когда я молчу дольше минуты, лучше не дышать вообще и не моргать слишком громко. За моей спиной чадили два сгоревших грузовика — «Вольво» с прицепами, новые, взятые в лизинг на подставную фирму. Водители — мальчишки, двадцать и двадцать два года, Серега и Колян. Один в прошлом месяце дочку родил, другой собирался жениться на медсестре из областной больницы. Теперь они лежали в морге с простреленными затылками. Не я их убил. Это тронуло бы меня, если бы я не научился не трогаться ни за что, кроме собственной выгоды.

Но я отвечаю за своих. Это не сантименты. Это закон джунглей, который я выучил раньше, чем таблицу умноже-

ния: если ты вожак, то кровь каждого твоего волка — на твоих руках. И когда кто-то убивает моих, я должен убить того, кто это сделал. Не потому что мне жаль. А потому что иначе меня сожрут. Без жалости. Без права на ошибку.

Я сжал левую руку в кулак — костяшки хрустнули. Правая уже лежала на рукоятке «Глока» за поясом, хотя стрелять здесь было не в кого. Только в память, которая уже рисовала лица убийц.

— Палыч, — тихо сказал я.

Палыч — мой начальник разведки, бывший опер, выгнанный из органов за излишнюю жестокость. Ему под пятьдесят, лысый, с вечной щетиной и глазами, которые видели столько дерьма, что из них можно было бы удобрять целые поля. Он шагнул вперед, бесшумно ступая по горелой земле. В левой руке — планшет с тепловизором, в правой — сигарета, которую он так и не закурил, потому что знал: я не курю и не люблю запах табака там, где пахнет моим товаром.

— Никого, Илья, — сказал Палыч. — Только наш хмель и два трупа водил. И следы шин «Тойоты Камри» — уходили на юго-восток. Две оси, резина «Бриджстоун» свежая, протектор почти не стертый. Машина ушла быстрее, чем приехала. — Он помолчал, потом добавил, как нож в сердце: — С тепляка видно, как они подъехали за двадцать минут до возгорания. Трое. Двое зашли внутрь, один остался водилой. Через десять минут вышли. Еще через пять — пожар.

Я кивнул. Нижняя челюсть свела судорогой — я сжал

зубы так, что заныли корни. Юго-восток. Это в сторону ЖБИ-3, а через него — прямая дорога до промзоны, а за промзоной — бетонка, а за бетонкой — элитный коттеджный поселок с пафосным названием «Хмелевая долина».

А там, в самом конце улицы Кленовой, стоял двухэтажный особняк из красного кирпича с белыми колоннами и коваными воротами, на которых узором вился хмель.

Офис Сергея Верещагина.

Домашний офис. Потому что Верещагин был из тех, кто предпочитал работать, не вылезая из халата. И спать — тоже не вылезая из него, потому что его толстое, обвисшее тело нуждалось в постоянном укутывании, как растение в парнике.

Сергей Верещагин. Партнер. Отец той девушки, которую я еще не знал, но которая уже стояла у меня в ребрах, хотя я даже не видел ее лица. Которая сейчас, возможно, спала под одеялом с зайчиками или пила чай с мятой в шелковой пижаме — и понятия не имела, что ее папочка только что подписал смертный приговор не только своему бизнесу, но и, возможно, ей самой.

Странно.

Я провел кончиком языка по верхней губе — соленый привкус. То ли кровь (лопнул сосуд от напряжения), то ли пот. Я никогда не верил в судьбу, в знаки, в ту самую «встречу», после которой все меняется. Встретил двадцать семь лет — прожил двадцать семь лет как нож: холодный, острый,

без жалости, без ручки, чтобы было удобно держать. Режущая кромка без компромиссов. Отец умер, когда мне было пять — застрелили на рынке за передел территории. Я помнил его лицо только по одной фотографии: он стоял у старого «Москвича», хмель вился по забору, и отец улыбался той улыбкой, которую я никогда не видел вживую. Мать сдала меня в интернат в восемь, сказав на прощание, глядя в сторону, а не в глаза: «Ты похож на него. Я не вывезу. Прости».

Я не плакал. Я вообще не плакал с тех пор, как в двенадцать лет впервые ударил воспитателя ножом для бумаги в бедро — за то, что тот ударил меня первым. Тренажерный зал интерната, запах пота и хлорки, воспитатель Палыч — нет, не мой Палыч, другой, однофамилец — который орал на меня за то, что я не заправил койку. Я ударил не со зла. Я ударил от отчаяния, которое за годы превратилось в броню. Нож вошел легко, как в масло. Крови было много. Я не испугался. Я почувствовал только холодное удовлетворение.

Интернат, улица, первые «заказы» в шестнадцать (разобрать должника, который задолжал местному авторитету Клюкве — просто переломать пальцы и выбить передние зубы, чтобы стыдно было улыбаться), своя бригада в двадцать, своя империя к двадцати пяти. Империя, которую сейчас пытались сжечь дотла.

Я сделал шаг вперед по хрустящему пеплу, и ботинок — тяжелый «Гриндс» с металлическим носком — захрустел по спекшимся шишкам хмеля. Они горели странно — не как

дерево, не как трава, а как что-то живое, что умирает в муках. С треском, с маслянистым дымом, который лез в легкие и заставлял кашлять, но при этом опьянял. Каждая шишка при сгорании выделяла лупулин — ту самую горькую смолу, которая делает хмель хмелем. Лупулин оседал на языке, на нёбе, на стенках горла, и через двадцать минут дыхания этим дымом ты начинал чувствовать легкое головокружение, как от двух рюмок водки на пустой желудок.

Горелый хмель — это не просто запах. Это горечь, доведенная до абсолюта. Это вкус предательства, если бы предательство можно было попробовать на язык. И сейчас я пробовал.

Смаковал.

Ибо я знал, кто это сделал. Я знал это с той секунды, как Палыч сказал «юго-восток». Я знал это всей своей шкурой, всем своим опытом, каждой царапиной на спине — а их было много, и каждая рассказывала свою историю о том, что никому нельзя верить. Кроме себя. И иногда — Палычу, но Палыч проверен годами и двумя пулями, которые он поймал на меня в Воронеже в 2018-м.

— Кто конкретно, Палыч? — спросил я, не повышая голоса. Тихий голос у меня опаснее крика. Криком орут те, кто не уверен в своей силе. Тишина — удел тех, кто может раздать голосовыми связками.

Палыч вздохнул. Этот вздох был длиннее, чем обычно. Он знал, что я не люблю, когда новости подаются с паузами.

— Серега Верещагин, Илья. С вероятностью девяносто семь процентов. — Палыч ткнул пальцем в планшет. — Его люди брали этот склад на карандаш месяц. Я нашел метки — они приезжали четыре раза, всегда в разное время, всегда новая тачка. Засекли график смены охраны. Водилы наши — Серега и Колян — взяли взятку с самого Верещагина. Я нашел распечатку перевода: двадцать штук баксов на криптокошелек, зарегистрированный на подставное лицо в Эстонии. А оттуда уже пошли переливы на счета, которыми пользуется личный помощник Верещагина — Колян Беленький, тридцать два года, судим за мошенничество, сидел два года в тверском СИЗО. — Палыч захлопнул планшет. — Верещагин хотел убрать конкуренцию на хмелевой линии. Он не знал, что мы везем не только хмель. Думал, просто уничтожит товар, поднимет цены, а потом предложит тебе «дружескую скидку» на свой хмель. Классическая схема кидалы.

Я кивнул. Классическая. Значит, Верещагин решил, что стар стал, жирен и может диктовать условия. Забыл, кто вытащил его из говна в 2015-м, когда его прошлые партнеры — люди Шаповалова — хотели закопать его в прямом смысле на лесопилке. Я тогда рисковал своей шеей, своими людьми, своими деньгами. Я выкупил его долги. Я познакомил его с нужными людьми. Я сделал из него того, кто он есть сейчас — уважаемый предприниматель, владелец трех пивоварен и сеть магазинов «Хмельной погребок».

И он решил, что я — это ступенька, по которой можно

подняться и пнуть.

Я засмеялся. Тихо, без улыбки. Звук, похожий на то, как ломается лед под ногами перед тем, как уйти под воду с головой. В горле запершило от смеси дыма и желчи.

— Палыч, через час я хочу знать, где он спит сегодня. Кровать, простыни, поза. Сколько храпов в минуту. И где держит запасной ключ от сейфа.

— Он у себя в доме. Но есть нюанс, — Палыч замялся. Он редко мялся. Обычно говорил как отрезал: быстро, сухо, без эпитетов. Но сейчас мялся, и это мне не нравилось. Хуже, чем пожар. Хуже, чем трупы водил. — К нему сегодня приехала дочь. Полина Верещагина. Двадцать три года. Живет с матерью в Питере с самого развода — это было пять лет назад. Верещагин не видел ее все это время. Она училась на дизайнера интерьеров в художественном училище, потом бросила, сейчас работает в какой-то кофейне на Невском. Сегодня в семь вечера приземлилась во Внуково. Отец встречал ее сам — мы это засняли на камеры наблюдения у терминала.

Палыч протянул мне планшет. На экране — статичная картинка с камеры аэропорта. Сергей Верещагин, в расстегнутом пальто, с букетом бордовых роз, обнимает девушку. Она стоит к камере спиной, но видно длинные волосы — до лопаток, чуть выющиеся на концах. И цвет волос... Я приблизил картинку.

Рыжие.

Не крашенные — такие рыжие бывают только у тех, в ком горит осень. Не огненно-красные, не медно-коричневые, а именно рыжие, как хмелевые шишки в тот самый момент, когда они поспевают — золотистые, с медным отливом и легкой зеленцой у корней. Волосы, которые нельзя не заметить. Волосы, которые заставляют вспомнить, что ты не просто зверь, а зверь с памятью о чем-то теплом.

Я отключил картинку.

Почему-то это слово — «дочь» — ударило меня под дых сильнее, чем новость о пожаре. У меня не было детей. Я не хотел детей — они делают мужчину мягким, привязывают к месту, заставляют думать о будущем, а в моем деле думать о будущем — это первый шаг к могиле. Но слово «дочь» в контексте человека, которого я собирался либо убить, либо покалечить так, что он молил бы о смерти, вызвало во мне не жалость. Жалость я выжег каленым железом еще в интернате, когда понял, что жалеть — это позволять себя бить.

Другое.

Любопытство. Острое, непривычное, как боль в зубе, который не болел никогда. И еще что-то — липкое, горячее, что разливалось по венам не от пожара. Я не умел называть чувства. Я их или подавлял, или уничтожал. Но это чувство не подавлялось. Оно росло, пускало корни, как тот самый дикий хмель, который разрывает асфальт, если его не вырвать вовремя.

— Фотку дай, — сказал я.

Палыч удивленно поднял бровь, но послушно открыл другую фотографию — на этот раз не с камеры наблюдения, а с городского канала в аэропорту, где девушка шла к выходу одна. Лицо крупным планом.

И я впервые увидел Полину Верещагину.

Она была не красивой в том смысле, который вкладывают в это слово мужчины, привыкшие покупать женщин. В ней не было той кукольной сладости, той глянцевої гладкости, которая продается в салонах пластической хирургии за копейки. В ней была красота опасная, дикая, как тот самый хмель, который вьется там, где его не ждут.

Бледная кожа, как будто она не видела солнца несколько месяцев — или, наоборот, видела слишком много и выгорела до пергаментной прозрачности. Скулы острые — можно порезаться. Глаза... я приблизил картинку. Глаза были серо-зеленые, с крапинками, как мрамор, как старая река, в которой отражаются хмельные берега. И что самое главное — она смотрела в камеру. Прямо. Не отвела взгляд, не улыбнулась виновато, не спрятала глаза за челкой. Она смотрела так, будто говорила: «Я знаю, что ты там, за объективом. Я знаю, что ты меня видишь. И мне плевать».

Без страха. Без той женской привычки улыбаться или отводить глаза, которую я ненавидел больше всего. Женщины, которые боятся, скучны. Женщины, которые играют в смелость — еще скучнее. Эта была настоящей. И это было опаснее всего.

— Зовут Полина, — тихо сказал Палыч, видя, что я молчу слишком долго. — На мать похожа. Вот, глянь.

Я закрыл телефон.

В груди заворочалось то самое — липкое, горячее, неуместное. Я принял это за гнев. Решил, что это от дыма. Решил, что это от усталости — два часа без сна, тридцать шесть часов без нормальной еды, только жидкий кофе из термоса и сухой паек. Решил, что это адреналин после пожара.

Я ошибся.

Я ошибся так, как не ошибался ни разу в жизни. Как человек, который идет по минному полю, уверенный, что знает все мины, а потом наступает на ту, которую заложил сам себе.

— Верещагин — мой, — сказал я, выпрямляясь во весь рост. Спина хрустнула позвонками, как сухой хмелевой стебель под ногами. — Остальные — по периметру. Внешнее кольцо — на выездах из поселка, внутреннее — у дома Верещагина. Никто не входит, никто не выходит. Я еду к нему один.

— Илья... — начал Палыч.

— Один, мать твою. — Я не повысил голос, но в нем появилось то самое — вибрация стали перед ударом. — Он мой лично. И дочь его — тоже.

Последнюю фразу я не планировал говорить. Она выскользнула сама, как осколок из раны — неуправляемо, больно,

кровоточаще. Палыч услышал. Он всегда слышал то, что я не хотел говорить. Но он был слишком умным, чтобы спросить.

Он просто кивнул и начал раздавать приказы по рации.

Я отошел в сторону, чтобы никто не видел моего лица. Потому что впервые за много лет мое лицо не выражало ни холода, ни ярости. Оно выражало то, чего я себе не позволял: растерянность перед самим собой.

«Мерседес» — черный G-класс, бронированный, с пуленепробиваемыми стеклами, с двигателем, который рычал так, будто вот-вот выпрыгнет из капота и сожрет всех, кто встанет на пути — ждал меня за поворотом, припаркованный под сенью старых тополей. Дым от пожарища уже почти не доставал сюда, но запах горелого хмеля вьелся в одежду, в волосы, в поры. Я чувствовал его даже сквозь кожу — горький, маслянистый, навязчивый.

Я сел за руль, положил руки на баранку и закрыл глаза на три секунды. Только на три. Этого хватило, чтобы в темноте под веками возникло ее лицо. Серо-зеленые глаза, которые смотрели в камеру так, будто видели меня насквозь. Меня — человека, которого боялись даже те, кто держал в руках оружие.

Она не боялась.

Это было либо безумие, либо такое же безумие, как у меня. Я не знал, что хуже.

Я открыл бардачок. Два «Глока» — семнадцатый и девят-

надцатый. Запасные магазины. Ампулы с адреналином — на случай, если подстрелят, а надо будет уходить. Фляга с водой. И маленький мешочек из плотной ткани, который я всегда держал при себе. Я развязал его, запустил пальцы внутрь и вытащил несколько высушенных хмелевых шишек.

Этот мешочек дала мне бабка — мать отца, единственный человек, который любил меня без причины. Она умерла, когда мне было тринадцать, в интернате, куда меня сдали. Я не успел попрощаться. Но она успела научить меня одному: хмель — это не просто трава. Это память. Это лекарство. Это яд. "Если тебе будет страшно, Илюша, — говорила она, глядя меня короткими морщинистыми пальцами по голове, — возьми шишку хмеля, разотри в пальцах и понюхай. Горький запах отрезвляет. А если захочешь забыться — завари чай. Но помни: хмель не прощает тех, кто играет с ним без уважения".

Я растер одну шишку между большим и указательным пальцем, поднес к носу и вдохнул. Аромат — терпкий, с нотками трав, меда и перца — ударил в голову, прочистил легкие от дыма, растолкал мысли. Через минуту моя голова стала ясной, как зимнее небо.

И в этой ясности родился план.

Не убить Верещагина.

Нет. Смерть — это слишком легко. Слишком быстро. Он лишит меня товара, убил моих людей, поджег то, что я строил годами. Он заслуживал не пули, а медленного, мучитель-

ного уничтожения. Я отниму у него все: бизнес, репутацию, свободу. А потом отниму самое ценное.

Дочь.

Эта мысль пришла не как решение. Она пришла как вспышка — молния в сухом небе, после которой все горит. Я увидел ее лицо перед собой, эти глаза, смотрящие в упор, и понял: она станет моей. Не по любви — я не верил в любовь. Не по расчету — какой расчет может быть с дочерью врага? А потому что хмель уже начал виться между нами, пускать корни, сцепляться в узлы.

Хмель — единственное растение, которое не растет прямо. Оно вьется, цепляется, обвивает опору. И в конце концов душит ее.

Я хочу, чтобы она задохнулась от меня. Чтобы каждый ее вдох пах мной. Чтобы она просыпалась ночью и чувствовала мое присутствие рядом, даже когда меня нет. Чтобы ее кожа помнила мои пальцы, ее губы — вкус моей крови, если я ее поцарапаю.

Это было болезненное желание.

Я знал это.

Но я никогда не был здоровым. Здоровые люди не владеют тем, чем владею я. Здоровые люди спят по ночам, не просыпаясь от каждого шороха. Здоровые люди не видят в женщине добычу и награду одновременно.

Я завел двигатель.

«Мерседес» взревел, и я выжал газ до упора, вылетая на

трассу. В зеркалах заднего вида горел склад — зарево, которое будет видно еще несколько часов. Моя империя горела. Но я не смотрел назад. Я смотрел вперед — на дорогу, на поворот к поселку «Хмелевая долина», на свет в окне, в котором, возможно, еще не спит рыжеволосая девушка.

В бардачке зазвонил телефон. Палыч.

— Илья, смотри, там новое видео с камер. Верещагин посадил дочь в машину и уехал домой. Она выглядит уставшей. Но, Илья... — Палыч запнулся. — Там еще кое-что.

— Говори.

— Я прогнал ее соцсети. Она... необычная. Никаких фото с парнями. Никаких вечеринок. Только хмель. Она изучает хмель. В ее профиле — десятки фотографий хмелевых полей, рецептов настоек, статей про лупулин. Она даже пишет какую-то работу про хмель в фитотерапии. Кажется, она в этом разбирается профессионально.

Я тихо засмеялся.

Хмель. Все дороги вели к хмелю. Груз, который сгорел — хмель. Поселок, куда я ехал — хмель. Девушка, которая встала на моем пути — хмель.

— Палыч, — сказал я. — Завтра утром привези мне все, что можно найти о ней. Где училась, где работала, с кем спала, что ела на завтрак. И найди лучшего флориста в городе.

— Флориста?

— Да. Мне понадобится венок. Из хмеля.

Я сбросил звонок.

Коттеджный поселок «Хмелевая долина» встретил меня тишиной. Здесь было тихо так, как бывает тихо только в местах, где люди спят без задних мыслей — или, наоборот, не спят вовсе, потому что задних мыслей слишком много. Двухэтажные дома из красного кирпича, кованые заборы, газоны с автоматическим поливом. Посередине — пруд с утками, которые сейчас спали, уткнувшись клювами в крылья.

Я припарковался за три квартала от дома Верещагина, в тени развесистого дуба, который рос прямо у тротуара. Пошел пешком, потому что мой «Мерседес» знал каждый второй в поселке. Капюшон натянут на лоб, руки в карманах куртки, походка — расслабленная, почти сонная, хотя внутри все сжалось в тугую пружину. Часы показывали половину первого ночи. Луна была в ущербе, но света ее хватало, чтобы видеть силуэты деревьев и сверкающие на снегу — нет, не снег, в конце октября снега еще не было, только иней на газонах — следы.

Дом Верещагина стоял в конце улицы, как паук в центре паутины. Высокий забор из кованого железа, на воротах — узор из хмельных листьев и шишек, выкованный с ювелирной точностью. Я остановился на секунду, провел пальцами по холодному металлу. Хмель. Опять хмель. Верещагин был одержим этой темой так же, как я сейчас начинал одержимость.

Я перелез через забор в том месте, где камера слепо смотрела в землю — Палыч скинул схему за три минуты до мо-

его выезда. Там был слепой сектор, созданный старым деревом и неправильно установленным кронштейном. Я изучил эту схему, пока ехал, запомнил каждый угол, каждый метр. Я всегда готовился, как сапер. Потому что саперы ошибаются один раз. Я — тоже.

Упал на газон, мокрый от росы, мягко перекатился и замер. Слушал. Где-то вдалеке лаяла собака — через три дома, не здесь. В доме Верещагина горел свет только на втором этаже — в одном окне. Окно было приоткрыто — на сантиметр, но я заметил щель. Занавеска колыхалась от сквозняка.

Гостевая спальня? Кабинет? Или комната, где сейчас спит рыжая девушка с глазами, которые смотрят в упор?

Стоп.

Я не должен думать о ней. Я здесь, чтобы раздавить Сергея Верещагина, как хмельную шишку в пальцах — до хруста, до маслянистого сока на ладони. Выдавить из него признание, а потом решить — убить или просто оставить без бизнеса, без денег, без всего. Я предпочитал убивать. Чище. Быстрее. Меньше риска, что труп заговорит.

Но внутри дома я оказался не через парадную дверь. Слишком шумно. Слишком предсказуемо. Я зашел через окно цокольного этажа — сначала снял решетку (она держалась на честном слове и двух шурупах, которые я выкрутил ножом), потом протиснулся внутрь, царапая спину о кирпичный проем. Кладовка. Пахло мышами, плесенью и ста-

рым хмелем — видимо, здесь сушили какие-то запасы для домашней пивоварни. На полках стояли банки с шишками, пучки сухих стеблей свисали с потолка, касаясь моего затылка, когда я выпрямился.

Хмель был везде. Он проник в этот дом, как вирус, как одержимость. Как я.

Я вытер руки о джинсы — ладони вспотели, чего со мной давно не было — и пошел наверх. Бесшумно. Как призрак, который забыл, что он мертв, и теперь бродит среди живых, пытаюсь вспомнить, каково это — чувствовать тепло чужой кожи.

Первый этаж — темно, тихо, только холодильник гудит на кухне. Я прошел через гостиную, мимо дивана с разбросанными подушками, мимо журнального столика, на котором стояла чашка с недопитым чаем. Остановился. Чай был травяной, с мятой и ромашкой, но я уловил еще один запах — хмель. Свежий, не сушеный, почти живой. Значит, она пила хмельной чай перед сном.

В гостиной на кресле висела женская одежда — легкое пальто песочного цвета, шарф вязаный, сапоги на низком ходу. Ее. Пахло не духами, а чем-то простым — мылом, яблоками, ветром с моря. Я нагнулся, вдохнул этот запах, и у меня закружилась голова. Не от дыма. От нее. От того, что ее не было рядом, но она уже заполнила собой весь дом, каждую молекулу воздуха, каждый сантиметр пространства.

Я выпрямился, прижал пальцы к виску. Голова шла кру-

гом. Это было похоже на то, как будто я выпил литр хмельной настойки на пустой желудок. Я слышал ее дыхание — или мне только казалось? Я чувствовал ее присутствие — она была где-то здесь, наверху, за тонким слоем бетона и дерева.

На второй этаж вела лестница с ковровой дорожкой бежевого цвета. Я ступал так, что половицы не скрипели — я знал технику бесшумного шага с пятнадцати лет, когда учился ходить по скрипучим полам старых хрущевок, чтобы не разбудить жертву раньше времени. Три комнаты. Спальня Верещагина — дверь приоткрыта, оттуда доносится храп, тяжелый, сиплый, как у старого пса, который видел слишком много драк. Ванная — дверь закрыта, под ней темно. И та самая комната со светом — дверь закрыта неплотно, из-под щели льется слабый желтоватый свет.

Я приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы видеть щель. На сантиметр, не больше.

Она сидела на кровати.

Боже.

Она сидела на кровати, скрестив ноги по-турецки, в большой футболке мужского кроя (отцовской? чужой? я скрипнул зубами от этой мысли) и в трусах — простых, хлопковых, темно-синих. Волосы мокрые, только из душа — капли стекали по затылку, падали на футболку, оставляя мокрые разводы. И эти волосы... я смотрел на них и не мог отвести взгляд. Они были цвета хмеля, когда его срывают в августе

— золотисто-рыжие, с медным отливом, с легкой зеленцой у корней, с прядями, которые вились сами по себе, не слушаясь расчески.

Она сушила их полотенцем — старым, выцветшим махровым полотенцем с вышитой надписью «Palm Beach». Сушила небрежно, как будто ей было все равно, как они выглядят. Как будто она не знала, что за ней наблюдают.

Но она знала.

Она подняла глаза. Прямо на дверную щель. Туда, где стоял я с рукой на «Глоке» и с бешено колотящимся сердцем, которое я не чувствовал года три.

И не закричала.

— Ты долго будешь там стоять? — спросила она.

Голос у нее был низкий, чуть хрипловатый, как будто она только что проснулась — или наоборот, давно не спала и успела выпить что-то горячее, обжигающее горло. Она не повысила тона. Не вскочила. Не натянула одеяло до подбородка. Просто смотрела на меня через щель, и в ее глазах не было страха.

Только усталость. И любопытство. И странное, почти материнское терпение.

— У тебя тень под дверью полчаса назад заметила, — добавила она. — Тень от ботинок. Ты там стоял так долго, что я успела дочитать главу и сходить в туалет. Если ты хотел меня напугать — не вышло. Если хотел убить — ты уже опоздал. Я не сплю на боку, в этой позе ты не убьешь меня с од-

ного выстрела, только ранишь. А крик я подниму такой, что проснется весь поселок.

Я толкнул дверь и вошел.

Вблизи она оказалась еще... опасней. Обычно женщины в такой ситуации смотрели на меня со страхом (большинство) или с желанием (те, кто понимал, что страх — это тоже афродизиак, если уметь им пользоваться). Бывало и то, и другое одновременно, причем от одной и той же дамы — и это было самое смешное, потому что женщины сами не знают, чего хотят, пока не окажутся лицом к лицу с монстром.

Но она смотрела с холодным, спокойным любопытством. Как смотрят на змею в террариуме: интересно, красиво, опасно, но палец не сунут, потому что знают — укусит. И не станут визжать, если змея выползет. Просто отойдут на шаг и будут наблюдать.

— Ты Илья, — сказала она. Не спросила — именно утвердила. И в этом утверждении не было ни капли сомнения. — Я видела твои фотографии у отца в кабинете. На стене, справа от портрета деда. Там ты на охоте — с кабаном, которого подстрелил. Отец говорил, что ты опасный человек. Но он всегда говорил, что опасные люди — самые надежные партнеры. Потому что они думают головой, а не сердцем.

Она замолчала, поправила мокрые волосы, и я увидел ее руки — длинные пальцы, без маникюра, с обкусанными ногтями. Руки человека, который нервничает, но не подает вида.

— Так вот, — продолжила она, — партнеры не заходят ночью через окно цокольного этажа, потому что у нормальных партнеров есть ключи. Так что ты или вор, или убийца. Или то и другое сразу. Какая разница? Садись, если не стрелять пришел. Вон кресло, оно удобное.

Я не сел.

Я стоял у двери, сжимая в кармане второй «Глок», и смотрел на нее. Она была маленькой — метр шестьдесят, не больше — но казалась большой. Не физически. Духом. Было в ней что-то такое, что заполняло комнату целиком, не оставляя места ничему другому. Даже моей злости.

— Дерзкая, — сказал я. Голос сел — я не говорил два часа, только слушал и отдавал приказы. Я прочистил горло, но хрипота никуда не делась. — Твой отец сжег мой склад. Там были люди. Два человека. Понимаешь, что это значит?

Она пожала плечами. Пожала — легко, как будто мы говорили о погоде или о том, что завтра на завтрак.

— Я не отвечаю за дела отца. Я здесь на три дня — отдохнуть от матери. И потом, если ты пришел убивать его — делай это тихо. У меня завтра рано утром поездка в центр. Хочу купить хмельных масел для ароматерапии. Врач сказал, что они помогают от тревоги. И еще нужно заехать в аптеку за лупулином в капсулах — у меня бессонница, знаешь ли.

Хмельных масел.

От тревоги.

Лупулин — экстракт хмеля, который продается в аптеках

как успокоительное.

Я рассмеялся. Впервые за эту ночь — не злым смехом, не тем ледяным смехом, который заставлял моих людей вздрагивать. А настоящим, горьким, почти живым смехом. Смехом, который вырвался откуда-то из груди, где я похоронил все человеческое много лет назад.

— Ты странная, — сказал я. — Нормальные люди при виде ночного гостя с ножом или пистолетом кричат. Или убегают. Или хотя бы пытаются позвонить в полицию.

— А у тебя есть пистолет? — спросила она, отложила книгу (это был старый том Булгакова — «Мастер и Маргарита», судя по обложке) и потянулась. Медленно, как кошка, которая не боится, что ее ударят. Потянулась так, что футболка задралась, открыв полоску живота — белую, гладкую, без единой родинки. — Я не вижу оружия. Обычно убийцы носят его на виду. Чтобы жертва боялась с первого взгляда.

Я вытащил «Глок» из-за пояса. Не спеша, чтобы она видела каждое движение. Положил на прикроватную тумбочку, рядом с ее телефоном и кружкой с хмельным чаем.

Она даже бровью не повела.

— Теперь нет, — сказал я.

И сам не понял, зачем сделал это. Зачем разоружился перед дочерью моего врага. Зачем дал ей преимущество, которого она даже не просила.

Она встала.

Я смотрел, как скользит футболка по ее телу, как напря-

гаются мышцы на ногах, когда она опирается на пятки. Два метра разделяло нас. Полтора. Один. Она сделала шаг вперед, и между нами осталось не больше вытянутой руки.

Хмельной запах — нет, не горелый, не тот, от которого першит в горле, а свежий, травяной, с горчинкой и легкой сладостью — шел от ее мокрых волос. Я вдохнул и понял: это не ее шампунь. Это не мыло. Это не духи. Это она сама так пахла. Хмелем, который еще не сожгли. Хмелем, который растет, вьется, цветет, несмотря ни на что.

— Ты пришел убить, — сказала она. — Я вижу это по твоим глазам. В них нет ничего, кроме желания разорвать. Но ты не убиваешь. Ты положил пистолет. Ты смотришь на меня не как на жертву. Значит, я тебе зачем-то нужна живая, Илья. Зачем?

Она спросила это без кокетства, без насмешки. Просто констатировала факт и ждала ответа, как ждут ответа на экзамене — спокойно, без паники, даже если не знаешь правильного варианта.

Я не ответил.

Потому что сам не знал ответа.

Я знал только одно: когда я смотрел в ее глаза — серо-зеленые, с крапинками, как вязь хмельных листьев на солнце, с длинными ресницами, которые отбрасывали тени на щеки, — я не хотел, чтобы она умерла. Я хотел, чтобы она жила. Дышала. Злилась. Убегала от меня, чтобы я мог догнать. Смотрела на меня так же прямо, но уже со страхом и жела-

нием одновременно.

Я хотел, чтобы она задохнулась от меня.

Чтобы хмель моей одержимости заполнил ее легкие, ее кровь, ее мысли, каждый ее сон, каждую минуту, когда она не видит меня. Чтобы она просыпалась ночью и чувствовала мой запах на своих простынях, даже когда меня нет рядом. Чтобы мое имя стало для нее таким же горьким и сладким, как лупулин на языке.

Это было безумие.

Чистое, дикое, как тот самый хмель, который вьется там, где его не сеяли, и душит все, что растет рядом.

— Где твой отец? — спросил я. Голос хриплый, почти шепот. В горле пересохло так, что каждое слово резало.

— Третья дверь по коридору. Там, где храпит. Только не убей его, пожалуйста, — она сказала «пожалуйста» без нажима, но от этого оно прозвучало страшнее, чем если бы она умоляла. — Он мне нужен живой. Хотя бы для алиментов. Я учусь на заочном, платить надо. И он единственный, кто знает, где лежат документы на квартиру матери. Если он умрет, я останусь ни с чем.

Я развернулся и вышел.

Но у двери остановился.

— Твое имя, — сказал я, не оборачиваясь. Я смотрел на стену коридора, на старые обои в цветочек, на пятно от плесени в углу. — Я знаю, что ты Полина. Но ты как-то по-другому пахнешь. Как тебя называют свои?

Пауза. Тишина за моей спиной была такой плотной, что я чувствовал ее кожей, как давление перед грозой. Она молчала так долго, что я почти решил, что она спит с открытыми глазами.

— Поля, — сказала она наконец. — Мама называет Полей. Папа — Полиной, когда не забывает, как меня зовут. Бывший парень — Польша. Но ты меня так не называй.

— А как?

— Никак. Потому что мы не знакомы, Илья. И не будем знакомы. Убивай отца, не убивай — это твое дело. Мне все равно. Он предавал мать пять лет, теперь предал тебя. Ему не привыкать. А я утром уезжаю. Забыла сказать — мой поезд в девять утра. Так что если хочешь застать меня живой — давай быстрее.

Я усмехнулся в темноту коридора. Усмехнулся так, как усмеваются перед тем, как сделать то, о чем будут жалеть всю оставшуюся жизнь.

— Не уедешь.

— Почему?

— Потому что я не отпущу. И ты знаешь это, Полина. Ты знала это с той секунды, как увидела мою тень под дверью. Если бы хотела, чтобы я ушел, ты бы закричала. Ты бы позвала отца. Ты бы сделала хоть что-то, кроме того, что ты сделала — не испугалась, не убежала, не закрылась. Ты ждала меня. И ты знаешь это. Потому что хмель вьется там, где его ждут.

Она не ответила.

Я не стал ждать.

Я пошел к спальне Верещагина, сжимая в кармане второй «Глок» (никогда не хожу с одним и никогда не отдаю единственное оружие). Но в голове у меня был уже не план мести. В голове была картинка, которая не имела никакого смысла: я веду ее под венец, а на ней венок из хмеля. Желтого, горького, живого, со свежими шишками, которые будут пахнуть так же, как ее волосы. И я целую ее так, что она задыхается. И она не вырывается. И я не останавливаюсь.

«Задохнись от меня», — мысленно приказал я той, кто еще не знала, что ее судьба решена.

За дверью спальни мощно, с присвистом храпел Верещагин. Я толкнул дверь ногой — она открылась с протяжным скрипом, который не разбудил бы даже мертвого.

— Вставай, Сергей, — сказал я, включая свет. — Поговорим о твоей дочери. И о том, сколько она теперь стоит.

Хмель сегодня победил.

Хмель уже вился между нами, невидимый, но ощутимый, как нить, которая связывает палача и жертву, пока они не поймут, что оба уже давно не те, кем кажутся.

Я откинулся на спинку кресла напротив кровати Верещагина, положил ногу на ногу и ждал, когда он проснется. В руке я держал шишку хмеля из своего мешочка — смятую, пахучую. И знал, что с этой ночи я не расстанусь с хмелем никогда.

Потому что хмель — это она.

А она теперь — моя.

Глава 1

Поезд «Санкт-Петербург — Москва» прибыл на Курский вокзал ровно в семь вечера, и Москва встретила меня запахами бензина, жареных пирожков и чужой суеты. Я стояла на перроне с сумкой на колесиках — единственной, которую мать согласилась мне одолжить — и с рюкзаком за спиной, набитым книгами, ноутбуком и двумя сменными футболками.

Я смотрела на вокзальные часы — огромные, круглые, с римскими цифрами, которые отсчитывали время чужой жизни. Пять лет. Пять лет я не была в этом городе. Пять лет я не видела отца. Я даже не была уверена, что хочу его видеть. Но мать сказала: «Полина, если ты не наведишь его, он умрет, и ты будешь винить себя. А я устала быть твоей совестью». И вот я здесь. Дура. Нет, хуже — дочь, которая помнит, что такое долг, даже когда долг пахнет горечью.

Отец встретил меня у выхода из вокзала. Я узнала его не сразу.

В моей памяти он остался мужчиной с густыми темными волосами, прямой спиной и уверенной улыбкой человека, который знает, что мир вертится вокруг него. Тот Сергей Верещагин, который уходил от нас пять лет назад, хлопнув дверью так, что с полок посыпались хрустальные вазы, был большим, сильным, шумным. Он кричал матери: «Ты нико-

гда меня не понимала!» — а она молча складывала его вещи в чемоданы и не плакала. Не при нем.

Я запомнила его спину. Широкую, в дорогом пиджаке. Она исчезала в лифте, и я думала: «Он обернется. Сейчас обернется». Он не обернулся.

Теперь передо мной стоял старик.

Он ссутулился, плечи обвисли, лицо покрылось сеткой морщин, которых я не помнила. Волосы — когда-то черные как смоль — стали пепельно-серыми и поредели на макушке, открывая розовую, в пигментных пятнах кожу. Он держал в руках букет бордовых роз — таких же увядающих, как он сам — и смотрел на меня так, будто пытался вспомнить, кто я такая. Будто я была не дочерью, а случайной знакомой, лицо которой выпало из памяти вместе с именами и датами.

— Полина, — сказал он, и голос его сел. Кашель. Глубокий, надрывный, как у заядлого курильщика, хотя он не курил никогда. (Я помню, мать говорила: «Твой отец — единственный бизнесмен, который не берет в рот ни сигарету, ни рюмку. Только хмель. Везде хмель»). Он кашлял пять лет? Или только сейчас, увидев меня? — Ты... выросла.

— Папа, — ответила я, и это слово обожгло язык. Я не называла его так пять лет. Последний раз — у дверей квартиры, когда он уходил, а я кричала вслед: «Папа, не уходи, ты обещал сводить меня в планетарий!» — и он не обернулся. Не остановился. Не сказал «в следующий раз». Просто шагнул в лифт, и стальные двери сомкнулись, как челюсти

капкана. — Ты похудел. Сильно.

Он не ответил. Взял мою сумку — она показалась тяжелой для него, он перехватил ее двумя руками — и понес к машине. Шел медленно, опираясь на трость. Трость! Отец с тростью. Я никогда не видела его с тростью. Он ходил на лыжах, плавал в проруби, поднимал меня на плечи, когда мне было уже двенадцать, и я была почти такого же роста, как мать.

Что с ним случилось? Болезнь? Жизнь? Или тот самый хмель, который он впустил в свою судьбу, когда оставил нас?

— Садись, — сказал он, открывая дверь черного «Мерседеса». Не своего — наверное, водительского. — Ехать полчасика. Я живу теперь за городом. В коттеджном поселке. «Хмелевая долина» называется.

Хмелевая долина.

Это слово ударило меня куда-то под дых, в солнечное сплетение, где еще хранились детские воспоминания. Хмель. Всегда хмель. Он был в нашей семье как проклятие — или как лекарство, от которого невозможно отказаться, потому что без него ломает, а с ним — дурнота и бессонница.

Я села на заднее сиденье, потому что переднее было завалено какими-то папками, договорами, флешками, старой газетой с обведенным объявлением — «Срочная продажа пивоварни». Отец сел рядом с водителем — молодым парнем с бычьей шеей и отсутствующим взглядом. Охранник? Водитель? И то, и другое? У него была татуировка на шее — какой-то иероглиф, который я не разобрала. Я смотрела на

этот иероглиф и думала: «О чем ты думаешь, человек? Тебе плевать на нас. На меня. На отца. Ты просто исполняешь приказы».

Мы выехали на Третье транспортное кольцо, и Москва поплыла за окном — знакомая и чужая одновременно. Пять лет назад я жила здесь, училась в художественной школе на Арбате (меня отчислили за неуспеваемость — я рисовала только хмель, только эти выющиеся стебли, только шишки, которые пахли детством), гуляла по Патрикам с подружками, которые потом перестали со мной общаться, потому что «у тебя странный отец, Поля, он какой-то не такой».

Потом отец ушел, мать собрала вещи и сказала: «Мы уезжаем в Питер. Здесь нам делать нечего». И мы уехали. Среди ночи. На такси. Она не хотела прощаться с этим городом, с этой жизнью, с его тенью, которая падала на все — на наши имена, на наши фотографии, на каждый вдох. Мы уехали так, будто спасались от пожара. Может, так и было.

— Как мама? — спросил отец, не оборачиваясь.

— Нормально. Работает. Вяжет на заказ. — Я не стала говорить, что мать последние полгода почти не вставала с кровати, что она плакала по ночам, думая, что я не слышу (я слышала, всегда слышала), что у нее начались проблемы с сердцем — та самая «хмельная аритмия», как она называла, потому что запах хмеля вызывал у нее учащенное сердцебиение. Не его дело. Не его больше.

— Передавай привет.

— Передам. Хотя она не обрадуется.

Отец промолчал.

Мы замолчали. Я смотрела в окно на бесконечные пробки, на огни реклам, на людей, которые куда-то спешили, и думала о том, зачем я согласилась на эту поездку. Мать сказала: «Он болен. Он просил тебя приехать. Он твой отец, Поля. Кем бы он ни был, он дал тебе жизнь».

Я не была уверена, что это достаточная причина. Я вообще не была уверена, что жизнь, которую он дал, стоило принимать. Но я приехала. Потому что надежда — это самый колючий сорняк. Она растет там, где не должно расти ничего. И ее невозможно вырвать с корнем, даже если ты выжжешь все вокруг.

Коттеджный поселок «Хмелевая долина» встретил нас тишиной.

Мы свернули с шоссе на узкую асфальтированную дорогу, обсаженную старыми березами (листья уже пожелтели и падали на асфальт, шурша под колесами, как шепот), и через пять минут въехали в железные ворота с табличкой: «ЧОП "Хмель" — пропускной режим. Посторонним вход воспрещен». Охранник в будке — мужчина с явной армейской выправкой и пистолетом на поясе — сверил номера, кивнул, и мы оказались внутри.

Здесь было красиво. Дорогие дома из красного кирпича и светлого дерева, ухоженные газоны (поливаются автоматически, даже сейчас, в октябре), фонтан в центре с бронзовой

фигурой какого-то древнегреческого бога — то ли Диониса, то ли кого-то, кто отвечает за виноград. Но вместо винограда — хмель. Каменные гирлянды хмеля обвивали постамент, каменные шишки свисали вниз, поблескивая на солнце.

Ирония судьбы.

Идеальная жизнь для идеальных людей. Но что-то было не так. Что-то неуловимо фальшивое, как декорации в театре, которые вот-вот рухнут, потому что их плохо скрепили.

Я заметила, что на некоторых домах — следы от пуль? Нет, не может быть. Царапины. Или плесень? Я не разобрала. Но что-то было не так.

— Твой дом — в конце улицы, — сказал отец, показывая рукой на двухэтажный особняк с колоннами. — Там есть сад. Тебе должно понравиться. Ты любила сады.

Я любила сады. В детстве, когда мы жили в старой маминой квартире на окраине (теперь ее снесли, на том месте офисный центр), у нас был крошечный палисадник — три на четыре метра, не больше, — где мать сажала цветы и кусты смородины. А еще — хмель. Дикий, цепкий, который лез повсюду, обвивал забор, лез на крышу сарая, душил розы, которые мать так любила. «Это как твой отец, — говорила она, выдирая очередной стебель с корнем. — Приходит, когда его не ждут, и вьется, пока не задушит все, что растет рядом».

Машина остановилась у ворот. Я вышла и замерла.

Дом был красивым. Большие окна, кованые перила балкона с узором из хмеля (опять хмель, везде этот хмель), дверь

из темного дуба с тяжелой бронзовой ручкой в виде шишки. Но сад... сад был запущен. Запущен так, что у меня защемило в носу — не от запаха, от обиды.

Кусты роз превратились в дикие заросли с редкими красивыми цветами, которые боролись за место под солнцем с крапивой в человеческий рост и лопухами, похожими на репейники из кошмаров. Аллея из туй пожелтела — одну дерево вообще засохло и лежало на боку, подпиленное, но не убранное, как будто рука не поднялась или сил не хватило. Газон не стригли — трава поднялась выше колена, и в ней что-то шуршало. Мелкие зверьки? Крысы?

И повсюду — хмель.

Он рос везде. Обвивал забор, лез на стены дома, свисал с крыши беседки, пробивался через щели между плитками дорожки. Его стебли — толстые, узловатые, с колючими волосками, которые оставляют царапины, даже если просто пройти мимо — карабкались вверх по водосточным трубам, цеплялись за карнизы, проникали в вентиляционные отверстия. Шишки — желто-зеленые, с легким красноватым отливом, похожие на маленькие еловые шишки, но мягкие, маслянистые на ощупь — висели гроздьями, как забытые после Нового года игрушки.

Вдох — и воздух ударил в нос горьким, терпким запахом хмеля. Свежего, живого, почти агрессивного. Запах моего детства. Запах, от которого у матери начиналась мигрень (она носила с собой нашатырь и нюхала его, когда хмель лез

в окно). Запах, который я вдыхала каждую ночь, когда не могла уснуть, и мать заваривала мне чай — ромашку, мяту, и чуть-чуть хмеля, чтобы успокоить нервы. Горький чай. Почти не питьевой. Но он работал.

— Заросло, — сказал отец за моей спиной. — Некогда ухаживать. Садовника я уволил год назад. Сказал, что мне не нужны посторонние на участке. А сам... сам не могу. Ноги. Спина. Возраст.

Я обернулась. Он стоял, опираясь на трость, и смотрел на сад с какой-то странной тоской. Или виной? Я не умела читать его лицо. Пять лет — это много. Особенно когда из них ты не видела человека ни разу, даже на фотографиях, потому что он не присылал их, а ты не просила.

— Ты болен? — спросила я прямо. Мать говорила что-то о сердце, о давлении, о том, что он «сдал». Но я хотела услышать от него. Глаза в глаза. Как в детстве, когда он учил меня: «Смотри на меня, Полина, вруны отводят глаза».

— Старость, Полина. — Он усмехнулся, но усмешка вышла горькой, как хмель. — И нервы. Бизнес... бизнес тяжелый. Партнеры дерьмовые. Не все, но один... — он запнулся, не договорил.

Он не договорил. Повернулся и пошел к дому, волоча трость по гравийной дорожке, оставляя борозды, как будто тащил за собой что-то невидимое, тяжелое. Я пошла за ним, и хмель царапал меня по плечам — его длинные стебли свисали с крыльца так низко, что пришлось пригибаться, и один

стебель хлестнул по щеке, оставив влажную полосу.

— Зайди, — сказал отец, открывая дверь ключом с брелоком сигнализации. — Я покажу твою комнату. Она на втором этаже. С видом на сад.

Дом внутри оказался больше, чем казался снаружи.

Гостиная — огромная, метров шестьдесят, наверное, — с камином из дикого камня и кожаными диванами, с картинами в тяжелых рамах (пейзажи, охота, лошади — ничего женственного, ничего мамино), с хрустальной люстрой, которая свисала с потолка, как ледяная глыба, готовая обрушиться в любой момент. На стенах — фотографии. Много фотографий. Отец с ружьем и подстреленным кабаном. Отец с группой мужчин в костюмах за длинным столом — все с бокалами, все улыбаются, но улыбки как маски. Отец на яхте, в белых шортах и панаме, с бокалом — неужели пиво? — в руке.

И ни одной семейной. Ни одной — с матерью. Ни одной — со мной.

Я остановилась перед пустым местом на стене, где особенно ярко выделялся квадрат более светлых обоев. Здесь что-то висело. Раньше. Что? Наша общая фотография? Мамин портрет? Мой детский рисунок, где мы втроем держимся за руки и солнце светит в окошко?

Отец прошел мимо, не оборачиваясь.

— ...и там ванная с джакузи, если захочешь, — доносился до меня его голос, пока я шла за ним по лестнице на вто-

рой этаж. Ступеньки были деревянными, с резными балясинами. На третьей ступеньке сверху — пятно, похожее на кровь? Я нагнулась, присмотрелась. Красная краска. Или вино. Или что-то еще. — Полотенца в шкафу, их меняют два раза в неделю. Если что-то нужно — скажи Любе, она приходит убираться в понедельник, среду и пятницу. Люба — домработница. Ей можно доверять.

Люба. Прислуга. Конечно.

Он открыл дверь в комнату, и я замерла на пороге.

Комната была красивой. Светлые обои в мелкий цветочек, которых я не помнила — новые, явно свежеклеенные. Большая кровать с балдахином из полупрозрачной ткани бежевого цвета, как в гостиницах для молодоженов. Письменный стол у окна красного дерева, на нем — лампа с зеленым абажуром и чернильница (зачем чернильница в двадцать первом веке?). Книжный шкаф, забитый книгами — классика, детективы, справочники по фитотерапии. Я вытащила один наугад — «Лекарственные растения: хмель и его применение в народной медицине». На полях — пометки отца. Его почерк — мелкий, нервный, с завитушками. Он писал на полях: «лучше, чем валериана», «не давать больше двух капель», «опасен при эпилепсии».

И на подоконнике — горшки с растениями. И снова хмель. Несколько отростков, посаженных в керамические горшки с дренажем, вились по специальным бамбуковым опорам, оплетая их, как зеленые змеи.

— Ты сажаешь хмель в горшки? — спросила я, не скрывая удивления.

Отец отвел глаза. Посмотрел в окно. На сад. На заросли.

— Это... это для бизнеса. Я изучаю сорта, Полина. Понимаешь, хмель сейчас дорогой, очень дорогой. Пивоварни, квас, хмельные напитки, ароматизаторы для косметики, БАДы для сна... Хороший сорт хмеля — это золото. Нефть. Доллары. — Он говорил быстро, как будто читал лекцию, которую выучил наизусть. — Есть сорта с высоким содержанием лупулина — той самой горькой смолы. Есть сорта ароматические, есть горькие. Я разбираюсь. Я... я стал экспертом.

— Раньше ты не интересовался хмелем, — сказала я. — Ты говорил, что хмель — это для фермеров и алкашей. Твои слова.

— Раньше я был дураком, — резко сказал он. Впервые за вечер в его голосе появилась твердость — старая, знакомая, та, от которой я в детстве пряталась под кровать. — Не задавай лишних вопросов, Полина. Ты приехала на три дня. Отдохни. Поешь. Поспи. Потом уедешь. И забудешь. Все это забудешь.

Он повернулся и вышел, тяжело ступая по паркету. Я слышала, как он спускается по лестнице (каждая ступенька скрипела под его весом), как открывает дверь в гостиную, как зовет кого-то по имени — «Люба! Где ужин? Я обедать через час!» — и голос его срывается на крик, которого я не помнила. Раньше он не срывался. Раньше он был холодным

и тихим, как лед.

Я осталась одна.

Я стояла у окна и смотрела на сад. Солнце уже садилось — большим оранжевым шаром, разрезанным пополам горизонтом, — и тени от хмелевых стеблей ложились на пожухлый газон длинными, извивающимися полосами, как руки, тянущиеся к дому. Это было красиво и жутко одновременно. Как будто сад был живым. Как будто он дышал — мерно, тяжело, хрипло. Как отец.

Я вспомнила детство.

Мне шесть лет. Я просыпаюсь ночью от того, что мне приснился дурной сон (огромный хмель лезет в окно и душил меня, обвивает шею, не дает дышать). Кричу. Прибегает мать — растрепанная, испуганная, в старом халате, который она носила еще до моего рождения. Она садится на край кровати, гладит меня по голове и говорит тихо, чтобы не разбудить отца (он спит чутко, он всегда спал чутко): «Не плачь, Поля. Не бойся. Я заварю тебе чай. Чай — лучшее лекарство от страха».

Чай был всегда одинаковым — ромашка, мята, и горсть высушенных хмелевых шишек, которые мать собирала в палисаднике и сушила на батарее, разложив на газете. Шишки были желто-коричневыми, сморщенными, похожими на маленькие мозги. Они пахли странно — горько, терпко, сладко одновременно. «Хмель помогает спать, — объясняла она, заваривая кипятком. — Он горький, но полезный. Как жизнь,

Поля. Жизнь нужно пить с горечью, чтобы сладость не убила тебя, не ослепила, не заставила забыть, кто ты есть».

Я пила и засыпала. И снилось мне что-то теплое, зеленое, обвивающее, как хмель — не страшное, а уютное. Как будто сам хмель охранял мой сон. Как будто он был не врагом, а стражем.

Потом отец ушел, и мать перестала заваривать хмельной чай. Она говорила, что теперь у нее от него изжога и бессонница — как ни странно, хмель, который должен усыплять, вызывал у нее кошмары. Но я знала правду: хмель напоминал ей о нем. О том, как хмель вился на заборе их первого дома, где они были счастливы. Несколько лет. Очень недолго. Три года. Может, четыре. Я была слишком маленькой, чтобы помнить точно.

Я отошла от окна, села на кровать. Пружины скрипнули подо мной жалобно, как старая собака — кровать была старой, не новой, явно не купленной специально для меня. Может, это моя старая кровать? Та, что была у меня в детской, до переезда? Я провела рукой по покрывалу — мягкое, с вышитыми цветами. Знакомое. Точно, мать покупала такое же в «Икее», когда мне было десять. Я узнала вышивку — ромашки и васильки, кривые, но милые.

Отец сохранил мою комнату.

Не переделал ее под кабинет, не отдал под склад для хмеля, не заставил коробками с документами. Оставил так, как было — с балдахином на кровати, с моими старыми книгами

на полках, с моими детскими рисунками, которые я заметила на стене за шкафом — я нагнулась и увидела: акварель «Моя семья», папа, мама и я, все с желтыми волосами и красными носами. Шедевр.

Я не знала, радоваться мне или плакать. Это было жестом? Или забывчивостью? Или чувством вины, которое он пытался залить деньгами и этим вот — сохраненной комнатой, как сохраняют комнату умершего ребенка, хотя я была жива и просто далеко.

Я не успела решить.

Внизу послышался шум.

Не крик — что-то другое. Тяжелые шаги нескольких человек. Мужские голоса — низкие, уверенные. Дверной звонок, потом открывается входная дверь (отец не спрашивает «кто там?», он знает, кто пришел), потом отец говорит что-то — быстро, испуганно, голос срывается на фальцет. И другой голос — тихий, спокойный, но такой, от которого у меня побежали мурашки по спине, хотя я не разобрала ни слова. Голос, который не повышают, потому что его и так все слышат. Голос, который не требует — приказывает.

Я встала.

Я не знала, зачем я встала. Может, любопытство — то самое, которое губит кошек и дочерей предателей. Может, инстинкт — зверь в клетке всегда прислушивается к шагам охотника, чтобы знать, когда бежать. Может, то самое чувство, которое матери называют «предчувствием», а я назы-

ваю «глупостью», потому что умные люди в такой ситуации сидят тихо и не высовываются.

Я вышла в коридор, подошла к лестнице, посмотрела вниз, сквозь резные перила.

Отец стоял в гостиной, бледный как мел, как простыня, как полотно, которое выбелили на солнце. Перед ним стоял мужчина.

Я видела его со спины — широкие плечи, обтянутые черной футболкой (футболка сидела идеально, облекая каждый мускул), темные волосы, чуть длиннее, чем принято у бизнесменов, — почти до ворота, с легкой небрежностью. Мощная шея, сзади — татуировка, которую я не разобрала, но угадала: хмель. Опять хмель. Кисти рук, которые висели вдоль тела неподвижно, как у солдата на посту, готового в любой момент выхватить оружие. Он был высоким — намного выше отца. И от него исходила странная, почти осязаемая энергия — холод, опасность, что-то такое, от чего хотелось спрятаться под кровать, как в детстве, но одновременно — смотреть не отрываясь, потому что отвести взгляд было страшнее.

— ...ты обещал, Сергей, — говорил он. Голос — низкий, с хрипотцой, спокойный. Слишком спокойный. Таким голосом говорят люди, которые устали кричать и перешли к действиям. Которые уже все решили и сейчас только ставят точку. — Ты обещал, что товар будет в срок. Где товар? Где мой хмель, Сергей? Я ждал три дня. Три дня простоя. Мои люди не работают, мой склад пуст, мои клиенты звонят и требуют

ответа. Где он?

— Илья, — отец забормотал, засуетился, замахал руками, как мельница крыльями. — Илья, я объясню, я все объясню. Склад... склад сгорел. Не по моей вине. Это случайность. Несчастный случай. Клянусь. Понимаешь? Пожалуйста, Илья...

— По твоей, — ответил мужчина. Илья. — Не ври. Я ненавижу врунов, Сергей. Ты знаешь, я ненавижу, когда мне врут. Я прощаю ошибки. Я не прощаю вранье.

Он повернулся.

И я увидела его лицо.

Боже.

Он был... страшным. Не в том смысле, что уродливым — нет, он был красивым, черт возьми, той опасной, хищной красотой, которая не продается в магазинах и не дается природой просто так — ее нужно заработать, отстрадать, вырвать зубами из жизни. Такие лица не рождаются в роддомах. Такие лица выковываются в драках, в тюрьмах, в ночных переделках, когда ты не знаешь, проснешься ли завтра утром или будешь спать вечным сном в сырой земле.

Широкие скулы, как у статуй древних воинов. Прямая линия носа — сломанного, явно сломанного хотя бы раз, может, два, может, три. Тяжелая челюсть, квадратная, волевая. Темные глаза — почти черные, без единого проблеска света, как у акулы, как у человека, который видел смерть и не испугался, а, наоборот, подружился с ней. И шрам на левой ску-

ле — тонкий, беловатый, как след от лезвия бритвы. Шрам, который портил идеальные линии лица — и делал его нечеловечески притягательным.

Он смотрел на отца. Потом медленно, очень медленно перевел взгляд вверх.

Увидел меня.

И замер.

На секунду — может, на две, может, на целую вечность — в гостиной повисла тишина. Даже отец перестал заикаться и открыл рот. Даже мухи, которые жужжали под потолком, затихли. Даже хмель за окном перестал шелестеть.

Он смотрел на меня так, будто я была не человеком. Будто я была находкой — редкой, ценной, опасной, которую археолог нашел в слое вечной мерзлоты. Будто он уже решил, что я буду его — и неважно, как меня зовут, сколько мне лет, и по своей ли воле я здесь нахожусь. Неважно. Совсем неважно.

Его взгляд пробежал по моему лицу (я не покраснела, я не опустила глаза, я не отвернулась — я смотрела в ответ, как учила меня мать: «Не бойся смотреть в глаза врагу, Поля. Страх в глазах — это приглашение. Это как кровь в воде для акул»), спустился ниже — на шею, где билась жилка (я чувствовала, как она бьется, как бешеный метроном), на ключицы, которые были открыты из-за выреза футболки, на грудь (я втянула живот, сама не зная зачем), на руки, которыми я вцепилась в перила с такой силой, что костяшки побелели.

Он меня раздевал.

Не в постельном смысле — нет, это было другое, более страшное. Он раздевал меня как оружие: снимал с предохранителя, проверял боезапас, целился в сердце. И в этом взгляде не было похоти в привычном понимании. Была собственничество. Было: «ты — мое, и мне плевать, что ты об этом думаешь, потому что твое мнение ничего не значит». Было холодное, расчетливое «я беру».

Я должна была испугаться.

Я должна была убежать, крикнуть отцу, позвонить в полицию, разбить окно и выпрыгнуть — второй этаж, я бы сломала ногу, но осталась бы жива.

Но я не убежала.

Я стояла на лестнице, вцепившись в перила, смотрела в эти черные глаза и чувствовала, как хмельной запах из сада проникает в дом через открытую форточку, смешивается с запахом мужского пота (его пот пах горько, как лупулин), с чем-то металлическим — оружием? кровью? страхом? — и от этого запаха у меня кружилась голова.

«Как хмель, — подумала я. — Сначала пьянит, потом душист. Сначала заставляет забыть, кто ты есть, а потом напоминает слишком поздно».

— Это моя дочь, — быстро, сбивчиво сказал отец, перехватив взгляд Ильи. Он сделал шаг, почти заслоняя меня собой — но какой от него прок, старого, больного, с тростью? — Полина. Она приехала из Питера. На три дня. Она не име-

ет отношения к делу, Илья. Клянусь. Она ничего не знает. Пожалуйста...

— Полина, — повторил Илья.

Он произнес мое имя так, как будто пробовал его на вкус. Как будто он решал — выплюнуть или проглотить, закусить или запить. И проглотил. С удовольствием. Смакуя.

— Спускайся, Полина, — сказал он. Не попросил. Именно сказал — голосом, который не терпит возражений. Голосом хозяина. — Я хочу видеть тебя ближе. Спускайся. Не бойся. Я послушалась.

Я спустилась по лестнице, ступенька за ступенькой, чувствуя, как отец смотрит на меня с ужасом (он качает головой: «нет, нет, не ходи»), а Илья — с голодом (он улыбается краешком губ, одобряя каждое мое движение). Пол в гостиной был холодным — паркет, дуб, — я сняла обувь в прихожей, когда вошла, и теперь стояла босиком и чувствовала, как холод поднимается от пяток к коленям, от коленей к животу.

Она подошел ко мне.

Медленно. Как будто давал мне время убежать. Как будто играл со мной, как кот с мышью, наслаждаясь каждым мгновением.

Я не убежала.

Остановился в шаге. Я чувствовала его запах — дым (горелый хмель, паленая древесина), мужской одеколон (дорогой, терпкий, с нотками кожи и перца) и... хмель. Горелый хмель. Как будто он только что вернулся с пожара. Как будто

он сам был пожаром — и сейчас я стояла слишком близко к огню.

— Красивая, — сказал он. Не мне — обо мне. Как о вещи. Как о картине. Как о трофее. — Рыжая. Волосы как хмель, как спелые шишки в августе. Сергей, ты не говорил, что у тебя такая дочь. Столько лет молчал. Зачем?

— Илья, пожалуйста... — голос отца дрожал, как натянутая струна, готовая лопнуть. Я никогда не слышала, чтобы его голос так дрожал. Даже когда он уходил от нас, он был твердым как камень. — Оставь ее. Она не при делах. Я прошу тебя.

— Пока нет, — ответил Илья, не сводя с меня глаз. — А потом — посмотрим. Всякое бывает.

Он протянул руку.

Я смотрела на его ладонь — широкую, с длинными пальцами, с мозолями на костяшках (бокс? нож? гантели?), с татуировкой на запястье: ветка хмеля, мелкая, детальная, обвивающая руку, уходящая под рукав футболки, как живая. Хмель, вытатуированный на коже, как клеймо, как напоминание, как предупреждение.

— Что ты делаешь? — спросила я.

Голос не дрожал. Я была собой удивлена. Внутри все тряслось, как в лихорадке при сороковой температуре, но снаружи — спокойствие, ледяное, материнское. Мать учила меня: «Ты — дочь своего отца. А он — волк. Волки не показывают страх, даже когда их рвут на части. Они скалят зубы до

последнего вздоха».

— Хочу коснуться твоих волос, — сказал Илья. — Они пахнут. Как хмель. Свежий. Не горелый. Ты что, моешь голову отваром из шишек?

— Мылом, — ответила я. — Обычным детским мылом.

— Врешь.

— Проверь.

Он коснулся.

Пальцы — грубые, горячие, с мозолями, которые царапали нежнее, чем шелк — скользнули по моим прядям, спустились к затылку, замерли. Он не дернул, не сжал, не сделал больно. Просто держал, как держат хрупкую вещь, которую боишься раздавить, но не отпустишь, даже если придется сломать.

— Хорошо, — сказал он тихо. Только мне. — Очень хорошо. Ты пахнешь домом. Не моим. Но каким-то правильным.

Отец за спиной что-то говорил — оправдывался, объяснял, просил, обещал. Я не слышала. Я слышала только, как стучит мое сердце — глухо, тяжело, как молот по наковальне в кузнице. И как стучит его — я чувствовала ритм через его пальцы на моей шее, на затылке. Спокойный. Ровный. Как у спящего зверя. Как у хищника, который уверен, что добыча никуда не денется.

— Илья, — выдохнула я. — Отпусти. Сейчас же.

— Не хочу.

— Это не твое дело. Не твоя голова. Не твои волосы.

— Ты — не мое дело, Полина. Ты — моя будущая проблема. — Он убрал руку, но не отошел. Стоял так близко, что я чувствовала тепло его тела через футболку. Жаркое, сухое, как от печки. — Я решу вопросы с твоим отцом. Сегодня. А потом мы поговорим. Ты и я.

— О чем?

— О том, что ты будешь делать, когда он проиграет. И когда ты останешься без защиты, без денег, без крыши над головой. — Он усмехнулся. Усмешка была кривой — из-за шрама, который натянулся, сделав лицо еще более страшным. Но от этого не менее притягательным. — Или — с защитой. Если выберешь правильную сторону. Мою сторону.

Он развернулся и пошел к выходу. У двери остановился, обернулся.

— Полина, — сказал он. — Не пей хмельной чай на ночь. От него снятся кошмары. Проверено на себе.

Дверь закрылась.

Отец рухнул в кресло, закрыл лицо руками. Плечи его тряслись. Он не плакал — кажется, он уже разучился плакать. Но тряся, как в лихорадке.

Я стояла посреди гостиной и чувствовала, как хмель из сада лезет в открытое окно, обвивает мои лодыжки, поднимается выше, к коленям, к бедрам. Я не двигалась. Не могла.

А потом я посмотрела на свои руки. Они дрожали. Мелко, противно, как осиновы листья на ветру.

И я поняла, что никогда в жизни так не боялась.

Но никогда в жизни так не хотела, чтобы этот страх повторился.

Отец не говорил со мной весь вечер.

Он пил коньяк — большой, дорогой коньяк из хрустального графина с золотым ободком — и смотрел в одну точку. Точка была где-то на стене, между двумя фотографиями: на одной он с кабаном, на другой — он с группой мужчин, все с бокалами. Я сидела напротив, на диване, обхватив колени руками, и ждала. Ждала объяснений. Ждала правды.

— Кто это? — спросила я наконец.

— Илья Архипов, — глухо сказал отец. — Мой партнер. Был партнером. Теперь... теперь не знаю. Теперь, наверное, никто.

— Он сказал про склад. Про товар. Что ты ему должен. Что ты сжег.

Отец поднял на меня глаза. Красные, с лопнувшими капиллярами, с желтыми белками. Пьяные. Но не настолько, чтобы не понимать.

— Ты хочешь знать правду, Полина? — он усмехнулся. Усмешка горькая, как тот самый чай, который заваривала мать. — Правда в том, что я... я кинул его. Я сжег его товар. Полторы тонны хмеля. Дорогой сорт. Специальный. Я хотел стать главным на этом рынке. Забрать клиентов. А он... он узнал. Быстрее, чем я ожидал.

— Ты сжег склад? — я не верила своим ушам. Мой отец — тот, кто учил меня, что честность — это единственное,

что остается у человека, когда у него отнимают все, даже достоинство — сжег чужое имущество? Сжег. Сознательно. Спланировал. — Папа, зачем? Зачем тебе это?

— Зачем? — он рассмеялся, но смех перешел в кашель — надрывный, страшный, как будто что-то вырывалось из легких вместе с воздухом. — Зачем, спрашиваешь? А затем, что он меня душит, Полина! Он влез в мой бизнес, он забрал моих клиентов, он... он не человек. Он зверь. С ним нельзя договориться. Его нельзя купить. Его можно только убить — или стать им. Я выбрал третье. Обмануть.

— И что теперь?

Отец допил коньяк, поставил рюмку на стол. Посмотрел на пустую рюмку, на капли на дне.

— Теперь он потребует. Деньги. Бизнес. Мою долю. Может, жизнь. — Он помолчал. — Но после того, как он увидел тебя... я не знаю, Полина. Я боюсь. Я очень боюсь.

— Меня?

— Тебя. Он посмотрел на тебя так, как смотрит на вещь, которую хочет присвоить. Не купить. Не украсть. Присвоить. Я знаю этот взгляд, Полина. Я сам так смотрел на твою мать. В начале. Пока не надоело. — Он закрыл лицо руками. — Прости меня. За все. За прошлое. За этот вечер. За то, что впутал тебя во все это.

Он замолчал. Я тоже молчала. За окном шумел сад — хмель шелестел листьями, царапал стены, как чьи-то пальцы. Казалось, он хотел войти в дом, обвить нас обоих, задушить,

как душит в саду розы и туи.

— Я уеду завтра утром, — сказала я. — Первым же поездом. В Питер. К маме.

— Не уедешь, — ответил отец. Голос его был тихим, но твердым. — Я знаю таких, как он, Полина. Если он решил, что ты ему нужна, он не отпустит. Даже если ты сядешь на поезд, он достанет тебя. В Питере. В любой точке страны. За границей. Он найдет. Он всегда находит.

— Это похищение? Он не имеет права. Есть полиция. Адвокаты. Законы.

— Право? — отец горько усмехнулся. — У него есть право сильного. А сила, Полина, всегда права. Всегда. Ты не знала? Доброта — это роскошь для тех, у кого есть броня. У нас с тобой брони нет. Ни у меня, ни у тебя.

Я встала.

— Я не боюсь его, папа. Я не буду прятаться.

— А зря. Страх — это не трусость, Полина. Страх — это инстинкт. Он говорит тебе: беги. Умные люди слушают инстинкты.

— А умные люди иногда остаются, — сказала я. — Потому что бежать некуда.

Я ушла в свою комнату, закрыла дверь на замок. Села на кровать, поджала ноги, обхватила колени. Хмель из горшков на подоконнике тянулся ко мне, как живой, как будто хотел утешить. Я отвернулась.

В голове стоял его взгляд. Черные глаза. Шрам на скуле.

И слова: «Не пей хмельной чай на ночь. От него снятся кошмары. Проверено».

Я заварила чай. С ромашкой, с мятой, с медом. И добавила хмель — горсть высушенных шишек, которые нашла в шкафу в банке с надписью «хмель, сбор 2022».

Выпила.

Кошмары мне снились. В них я стояла на лестнице, а внизу, в гостиной, стоял Илья и смотрел на меня. И я спускалась. Все ниже. И ниже. И когда я оказывалась в шаге от него, он протягивал руку и говорил: «Пришло время».

И я не просыпалась до утра.

Утром я проснулась от запаха.

Хмель.

Он проник в комнату через открытую форточку (я не закрывала ее на ночь, хотела спать с воздухом), смешался с запахом утренней росы и холодного кофе, который кто-то варил внизу. Я лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. Белый, с лепниной по краям. Красивый. Дорогой. Чужой.

Я не знала, что делать.

Пять лет я строила свою жизнь в Питере — маленькую, тихую, безопасную. Работа в кофейне на Невском (хозяин — грузин, добрый, как дедушка, платил мало, но кормил бесплатно), курсы фитотерапии (я была лучшей на потоке, меня хвалили за знание хмеля), редкие прогулки с подругами, которые считали меня странной («Поля, ну почему ты все

время говоришь о хмеле? Это же просто сорняк!»), вечера с книгами. Никаких мужчин — я их боялась после отца. Никаких криминальных разборок. Никакого хмеля, кроме того, который я изучала как лекарственное растение.

И вот я здесь. В доме отца, который оказался преступником. На пороге — мужчина, который смотрит на меня так, будто я уже принадлежу ему. И хмель повсюду — в саду, в горшках, в чае, в моей голове, в моих венах.

Я встала, натянула джинсы (потертые, любимые, с дыркой на колене), футболку (белую, хлопковую, с надписью «Фитнес? Нет, спасибо»). Расчесала волосы — рыжие, как хмелевые шишки в августе, когда они наливаются горечью и маслом. Посмотрела в зеркало на комод. Глаза — серо-зеленые, с крапинками, как мрамор, как хмельная листва — смотрели устало, но твердо. Под глазами — круги. От бессонницы. И от страха.

— Ты справишься, Поля, — сказала я своему отражению. — Ты всегда справлялась. Справлялась с маминей депрессией, с отцовским уходом, с переездом, с одиночеством. Справишься и с этим. Ты — хмель. Ты вьешься там, где другие ломаются.

Внизу зазвонил телефон. Потом замолк. Потом снова. И снова.

Я спустилась.

Отец сидел на кухне за большим дубовым столом, бледный, с кругами под глазами еще больше моих, с трясущимися

ся руками. Перед ним стояла тарелка с недоеденной яичницей (желток растекся, белок подгорел) и остывший кофе в чашке с трещиной.

— Звонил Илья, — сказал он, не глядя на меня. — Приглашает тебя на ужин. Сегодня. В ресторан. Восемь вечера.

— Я не пойду, папа. Я же сказала — уезжаю.

— Я сказал ему, что ты болеешь. Что у тебя температура, что ты плохо себя чувствуешь после дороги. Он сказал, что приедет сам. С врачом. Своим личным врачом. Он сказал: «Я проверю. Если она больна — я ее вылечу. Если нет — она поедет со мной».

Я села напротив отца, на жесткий деревянный стул. Взяла его холодную чашку, подержала в руках.

— Папа, что происходит? Что он хочет? Скажи мне правду. Всю правду.

Отец поднял на меня глаза. В них была такая тоска, такой страх, такой стыд, что у меня сжалось сердце. Он был похож на побитую собаку — большую, когда-то сильную, а теперь жалкую и больную.

— Он хочет тебя, Полина. Не как женщину. Как... трофей. Как гарантию, что я не дернусь больше. Как заложницу. Он сказал вчера, когда ты ушла наверх: «Если ты хочешь сохранить бизнес, Сергей, и остаться живым, отдай мне дочь. Я заберу ее замуж. Она будет моей женой. А ты будешь работать на меня. И останешься жив. И твой бизнес — тоже. Это единственный вариант».

Я молчала.

Отец заплакал. Впервые в жизни я видела, как мой отец плачет. Крупный, сильный мужчина, который когда-то поднимал меня над головой, который не боялся ни врагов, ни конкурентов, ни бандитов, плакал, закрыв лицо ладонями, и плечи его тряслись.

— Прости, — шептал он. — Прости, дочка. Я не хотел. Я не знал, что так выйдет. Я думал, я справлюсь сам. Я думал, он не узнает. Я дурак. Старый дурак.

Я встала, подошла к отцу, обняла его за плечи. Он пах коньяком, страхом и старостью. Хмелем — из сада, который лез во все окна.

— Я разберусь, — сказала я. — Я сама с ним поговорю. Сегодня. На этом ужине.

— Нет, — он вскинулся, схватил меня за руку, сжал. — Нет, он убьет тебя. Он убьет тебя, Полина.

— Не убьет. Ему нужен живой трофей, папа. Мертвый не подходит. Мертвый не гарантия. Мертвый не жена.

Я пошла наверх, чтобы одеться — нормально, прилично, не в старой футболке с дырками. Надела темное платье, которое мать купила мне на выпускной три года назад — тогда оно было немного велико, теперь сидело идеально. Черное, простое, до колена, с длинным рукавом. Босоножки на невысоком каблуке. Чуть-чуть подвела глаза — стрелки, как учила мать: «Ты должна быть красивой, Поля. Не для него. Для себя. Чтобы помнить, кто ты есть, когда он попытается

сделать тебя своей тенью».

В зеркале отражалась чужая девушка. Та, которая собиралась на встречу с монстром. И почему-то не боялась.

А может, боялась. Просто устала бояться.

Перед выходом я задержалась в саду.

Хмель обвинил калитку, и мне пришлось отдирать его колючие стебли, чтобы открыть. Они царапали руки, оставляя красные полосы, которые потом будут чесаться и болеть. Как будто сам сад предупреждал: не ходи. Вернись. Спрячься в доме, закрой окна, не высывайся. Но я уже не могла.

Я пошла.

За воротами стояла черная машина — большой внедорожник с тонированными стеклами, на номерных знаках — какие-то цифры, которые я не запомнила. Из нее вышел здоровенный мужчина в черном костюме, с наушником в ухе, открыл заднюю дверь.

— Полина Сергеевна? Илья вас ждет. Прошу.

Я села в машину.

Кожаные сиденья пахли дорого и холодно. Хмель остался за спиной — за воротами, за забором, в саду. Но его запах — горький, терпкий, пьянящий, как первый глоток пива на голодный желудок — преследовал меня всю дорогу. Он был в кондиционере, в обивке сидений, в моих волосах.

Я знала теперь: он будет со мной всегда.

Глава 2

В кабинет Верещагина я вошел без стука.

Это моя территория. С того момента, как он поджег мой склад и убил моих людей, его кабинет, его дом, его жизнь — все это стало моим. Я просто еще не подписал акт приема-передачи. Но подпишу. Сегодня.

Кабинет пах старым деревом, кожей, табаком — и страхом. Страх имеет запах. Я научился различать его оттенки еще в интернате, когда воспитатели боялись меня, а я боялся их. Страх пахнет потом, уксусом и чем-то сладковатым — адреналином, который выбрасывается в кровь. Сейчас кабинет пропах этим коктейлем так, что можно было резать ножом.

Верещагин сидел за столом — массивным, дубовым, с резными ножками, которые стоили больше, чем его первая машина. Он пытался изобразить спокойствие, но его пальцы, лежащие на столешнице, дрожали. Пальцы крысы, которая поняла, что сыр в мышеловке, а бежать уже поздно.

— Илья, — сказал он, и голос его сел на второй ноте. — Я не ждал тебя так рано. Мог бы позвонить. Мы бы встретились в ресторане, обсудили...

— Заткнись, — сказал я, не повышая голоса.

Он заткнулся. Хорошая крыса. Обучаемая.

Я подошел к столу, вынул из внутреннего кармана куртки

папку — черную, кожаную, с застежками-молниями. Бросил на стол. Папка шлепнулась тяжело, как мокрый мешок с песком. Верещагин вздрогнул. Теперь дрожали не только пальцы — его колени под столом ходили ходуном. Я видел это, потому что стул, на котором он сидел, был с низкой спинкой, и его позвоночник выдавал каждое движение, каждую судорогу страха.

— Что это? — спросил он, не решаясь открыть.

— Твоя смерть, — спокойно ответил я. — Или твое спасение. Смотри.

Я сел напротив него, в кресло для посетителей — кожаное, удобное, с подлокотниками. Скрестил ноги, руки положил на подлокотники. Поза короля, который смотрит на казнь. Или на помилование. Еще не решил.

Верещагин открыл папку дрожащими пальцами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.